

Алексей
МАНАЕВ

г. Москва

ИСПОВЕДЬ «Человека без тени»

рассказ



В дверь позвонили. Обычно звонок у моей двери трепещет, как сердце женщины, которой пьяница-муж впервые в жизни принёс получку. На этот раз на кнопку будто присела бабочка и раздалось несмелое «ой!». Так юная девушка в былые времена откликнулась на первые попытки ухажёра приглубить красавицу.

— Наверное, детвора балуется, — подумал я и распахнул дверь. Предо мной стоял Константин Сергеевич, сосед, и очень стеснительно, можно сказать, виновато, улыбался.

Его поведение удивило. Соседствуем мы лет тридцать и заглядываем друг к другу частенько. Не стесняемся даже попросить соли, яиц, хлеба, если своя снедь неожиданно закончилась, а в магазин идти не с руки. Обмениваемся дачными трофеями. У меня удаются фрукты — яблоки, груши, черешня и даже виноград, да не чахлая «изабелла», а сорта солидные, с гроздьё килограмма в полтора.

А дачные успехи Константина Сергеевича нежатся на овощных грядках. Таких помидорчиков с огурчиками, болгарского перца, баклажанов и на самом престижном рынке не найдёшь. Лакомимся за рюмкой-другой, слабривая беседу долгими разговорами о крутых виражах политиков. Как говорят в таких случаях, не ради пьянства окаянного, а чтобы не отвыкнуть.

Так что смущаться визитеру не пристало. А ещё надо знать характер Константина Сергеевича. Между собой мы, соседи, величаем его не по имени-отчеству, а с уважительной льстивостью — «наш генерал». Генеральский мундир с золотыми погонами ему, может, и был бы к лицу, но до головокружительных командных вершин Константин Сергеевич недотянул, за три года срочной службы поднявшись на маленькую сопочку старшего сержанта-артиллериста. А вот выправкой, манерой держать себя семидесятидвухлетний седовласый приятель будто старается доказать, что армия много потеряла, оставив его на дальних подступах к лампасам.

Внешность обманчива. Иной всю жизнь в генералах, а присмотришься — и в дворники не годится. Бывает же, придёт слесарь-сантехник с потрёпанным чемоданчиком прошлого века, где ключи, болты и гайки соседствуют с бутылкой какой-нибудь бормотухи, любовно укутанной промасленной ветошью, и застынешь в изумлении.

Покажется вдруг, будто гость из древнего княжеского рода, из лордов, и только исключительно по недоразумению он вынужден знаться с кранами, батареями, унитазами и иными чудесами интимного сантехнического прогресса.

Константин Сергеевич не сантехник. В бытность свою руководил небольшой проектной конторой. Но наряды в генеральские «доспехи» — от настоящего полководца не отличишь. Чем объяснить — сразу и не скажешь. У бабки-повитухи, которая принимала младенца, ставшего литературным дедом Шукарём, были свои признаки будущего военачальника: лобик узенький, головка тыковкой, пузцо сытенное, голосок басовитый. Эти признаки — дед Шукарёв доказал — сомнительны. Сытенное пузцо и головка тыковкой теперь почти у каждого начальника, а настоящих орлов хоть в Красную книгу заноси.

Константин Сергеевич высок и прям, как указка. Голос парадный, басовитый, повелительный. Умеет держать себя так, будто именно к его ушку однажды наклонилась сама природа и любезно сообщила сокровенные тайны человечества. Будто именно его Всевышний наградил какой-то невидимой аурой, благодаря которой ему хочется внимать, хочется верить и хочется подчиняться. Хочется, чёрт возьми! Поэтому для нас, людей слабохарактерных, погруженных в сомнения, вечно рефлексирующих, нуждающихся в покровителе, сосед и был генералом.

Слово «наш» мы употребляем тоже не случайно. Оно невзначай подчёркивает, что крутой «генерал» — человек из нашей среды. Значит, в его характере есть чёрточки и наших характеров, а потому есть чем гордиться и каждому из нас. И мы — умы!

Словом, для нас сосед всегда был современным Ахиллом, человеком разумным, смелым, но, в отличие от мифического героя, не имевшим уязвимых мест.

Тем страннее мне было видеть его на пороге в роли подрастерявшегося нашкодившего школьника.

— О-о-о, кого мы видим! Сам генерал пожаловал! — с нескрываемой игривой лестью развёл я руками. — Проходите, Константин Сергеевич, дорогим гостем будете. Чайком побалуемся. Настоящий. Свежий. Цейлонский. Прямоком с плантаций прибыл, — хвастливо заманиваю собеседника в тенета.

— В другой раз. Вы моего брата, конечно, знаете. Он тут труд свой на экспертизу просил передать. Впервые в жизни писательских шей попробовал. Говорит — на любителя. Очень кислые. Почитайте, вы у нас литераторствуете. Может, пригодится, — и сосед протянул тощенький прозрачный файл с писчей бумагой.

— За чаем вместе и почитаем, — я пытался найти консенсус.

— Не стоит. Лучше не видеть, как родственникам делают операцию. Поглянется, хорошо. А нет — и суда нет.

На том и расстались.

Я тут же уселся в кресло. Любопытство раздирало меня, потому как и не подозревал, что брат соседа — коллега, пытающийся взнуздать капризного литературного скакуна. С неожиданным волнением вынул из файла рукопись. Казалось, не я собираюсь судить о литературных фантазиях приятеля, а мои литературные фантазии намерена обсуждать большая крикливая аудитория.

Набранный крупными буквами в разрядку заголовков «Автобиография» несколько остудил любопытство, но чем больше вчитывался в повествование, тем больше оно заинтересовывало. Пересказывать его нет смысла. Приведу полностью всё, что автор доверил бумаге.

* * *

«...В «Романе без вранья» литератора Анатолия Мариенгофа, одно время дружившего с Сергеем Есениным, натолкнулся на удивительную ситуацию. Отец Мариенгофа погиб во время Гражданской войны — нашла шальная пуля. Всю ночь Анатолий лежал на кровати в обнимку с покойником, пытаясь, видимо, оживить его теплом.

Не оживил.

Этот факт настолько поразил меня, что я стал даже мечтать проводить своего отца в последний путь только тогда, когда всю ночь пролежу с ним, уже неживым, на кровати в обнимку. Хотя знал: моим странным и страшным фантазиям (нашёл о чём мечтать!) никогда не сбыться. Потому что я, Борис Сергеевич Вихров, родился в 1950 году. А мой отец погиб на фронте в Великую Отечественную. Это мне известно точно — с тех пор, как я, четырёхлетний, спросил маму, где наш папа.

Маму вопрос застал врасплох. Она долго мол-

чала, а потом сказала сдавленным голосом, что он погиб на фронте, и отправила меня гулять во двор. Я вышел из дома радостный. Почему бы не погулять весёлым майским днём? На улице сплошной хорал: воробьи, синицы, ласточки, скворцы славят весну. Даже редкие петушиные голоса отдают не маршевыми командами, а игривыми гусарскими тонами.

Я с радостью выбежал из хаты-мазанки. В одной комнате умещалось всё наше богатство: русская печь с приветливой зимой лежанкой, стайка пузатых чугунков и горшков, разместившихся на деревянной скамейке, как куры на насесте; железная кровать с никелированными шарами по углам спинок, которых удостоена за приветливую пухлость перины, а также наше особое достояние — новорождённый телёночек. Их каждый год дарила нам под самую весну кормилица — Зоренька, как величала корову мама.

Но что-то заставило меня задержаться на крыльце, и я услышал плач. Сколько живу, таких выворачивающих наизнанку душу рыданий не доводилось слышать никогда.

— Не могу! Не могу! Не могу! — видимо, уткнувшись в подушку, повторяла мама. — Не могу!

Я удивился. Чего плакать-то? Весна прихорашивает самые недобрые мысли. Радоваться надо!

С тех пор и живу с ощущением того, что мой отец действительно погиб на фронте. С каждым годом это чувство становится не просто предположением, каким-то исподволь возникающим импульсом, а твёрдой уверенностью, заверенной печатями самых высоких душевных инстанций.

Я гордился тем, что входил в большую команду отроков и отроковиц чуть постарше меня, которых война оставила без бать, дедов, а то и прадедов. Но было и отличие. Большинство знало, где и как они погибли. Некоторые даже показывали порыжевшие от времени письма-похоронки. Ребята постарше рассказывали, как храбро сражались их бати под Москвой, в Сталинграде, на выжженных дотла полях Курской дуги, как брали Берлин и штурмовали Рейхстаг.

Я ничем похвастаться не мог. Но тогда, в детстве, я точно знал: мой батя — смелейший из смелейших, храбрый из храбрый.

То моё воображение рисовало, как он бросается под наглый, в крестах, танк со связкой гранат. Вражеская машина, похожая на бульдога, заскулила, закрутилась на месте и загорелась, оставляя

в синем небе чёрную гриву не ожидавшего бесславного конца бульдога. Так тебе и надо, думал я. Чёрные мысли и дела всегда выдает чёрный дым пожара.

То мой родитель на боевом многозвёздном самолёте идёт в лоб вражескому «мессеру». Фашист в испуге начинал метаться по кабине и был сражён смелым пистолетным выстрелом. Да, не пулемётной очередью, а дуэльным выстрелом из пистолета.

То чудилось мне, будто батя, разведчик, добрался до самого логова Гитлера и передал в Москву ценнейшие сведения. Будучи выслеженным, он уложил из немецкого «шмайсера» целую роту гитлеровцев, а потом подорвал гранатой себя и взвод эсэсовцев в вороньей униформе. Досталось и самому Гитлеру.

С годами воображение моё утихомирилось. Я даже стал допускать, что батя мог погибнуть во время марша от случайной пули или умер от ран в госпитале. Может быть, в бессознательном состоянии попал в плен и был казнён в газовой камере. Это ощущение живёт в моей душе до сих пор, хотя далеко не юнец. Особенно печалит, что я не знаю и никогда не узнаю, где погиб отец, солдат Красной армии, где упокоены его останки, останки многострадального человека. Уже внуки и правнуки участников войны ездят в дальние и близкие края, чтобы поклониться праху предков. Гигантским был этот жертвенный костёр, если могилы земляков разбросаны не только по всей Европе, но и в Азии и Америке.

Моему родителю места на земле не нашлось. Даже Вечный огонь, что у Кремлёвской стены, не его могила. Не его! Потому что отец реален и виртуален одновременно. Реален, поскольку вместе со всеми восьмьюдесятью мужчинами нашего хутора ушёл на фронт. Мама часто вспоминала те дни. Призывников на телегах, запряжённых парами лошадей, за двадцать пять километров везли в военкомат. Держась за телеги, их провожали и стар и млад. Собаки и те включались в процессию. До шляха в полутора километрах от хутора добирались молча. Здесь — хочешь не хочешь — надо расставаться. И вот тут, на взлобке, в поле, в созревающих хлебах многоголосым страдальческим причитанием повисал надрывный вселенский плач. Он вихрем поднимался над землёй и растворялся в шарахающихся от него облаках. Женщины не плакали — голосили

нутром, охая, ахая, опускаясь на колени или вовсе падая в дорожную пыль.

— Да на кого ж ты нас, родненький, по-ки-да-а-ишь!.. Да какому же теперь богу кла-а-няться?.. Да не стало в доме хозяина, откуда ж теперь весточку жда-а-ать? Да детки без отцовского догляда будут рас-ти-и!..

Не выдерживали и мужики-призывники. В последнюю езду один русский молодой хуторянин поднялся во весь рост на телеге и начал держать речь. Мол, нам, воинам, выпала честь Родину защищать. Да мы этому немцу, свиному рылу, в три счёта бока опалим. А вы нас, бабоньки, заживо не по-христиански хороните. В путь-дорогу провожают с надеждой, с верой. Вера и есть самое главное наше оружие. Вы наша, бабоньки, опора.

Плач переходил в поскуливание, в жаркие объятия и в надежду, что авось пронесёт. Где наша не пропадала!

— Мам, а ты со своим суженым как расставалась? — любопытствовал я.

— Как-как... Да никак. Не было у меня суженого. Всё приглядывались да принимались. Постою, постою в толпе, всплакну вместе со всеми и иду домой в неопределённом статусе. Ни девка, ни баба, ни вдова, ни сирота, — забыв об утверждении, будто мой отец погиб на фронте, вспоминала мама.

За несколько военных дней всё мужское население хутора было выметено жестокой, не знающей усталости метлой. В сусеках остались старики, женщины да дети. Хутор будто впал в анабиоз, начал учиться другой жизни. Детвору, которая раньше ни свет ни заря стремилась улизнуть из дома, теперь со дворов и калачом не выманить. Проводив коров в стадо, не собирались в весёлые гурты бабы, любившие поделиться местными амурными новостями, настоянными больше на вымысле, чем на правде. К соседям ходили только по великой нужде, чтобы укротить страх одиночества, пробивающийся сорняком каждый час. Говорили тихо, словно опасаясь, что разговоры кто-то незримый подслушивает. Вечерами, экономя керосин, не зажигали свет. Ложились спать рано. Просыпались тяжело, с постоянно подступающей к самому сердцу тревогой. И, пересиливая эту тревогу, шли на работу. Она тоже не приносила былой радости и стала походить на обмолоченный мятый пше-

ничный колос. Выходило, без мужского глаза и петух зарю горазд проспять.

Хуторяне прикидывали, когда земляки вернутся домой с победой. Но время шло, а победа, будто странник, не знающий, куда идти, заплуталась так, что и следов не найти. Начали давать знать о себе солдаты. На фронт они уходили половодьем, а возвращались тихими невзрачными ручейками — кто без руки, кто без ноги, а кто вроде весь в сборе, но в таком состоянии, будто собрали из подручного материала. Повадились похоронки. Маму, разносившую почту, люди боялись и непременно крестились, видя её. У каждого тут же возникала мысль: вдруг полезет в сумку и достанет треугольничек, который сделает несчастным на всю оставшуюся жизнь?

Только после мая 1945 года пожаловали личными персонами фронтовики, не покалеченные войной. И тут выявился ещё один коварный её нор. У неё были двойники. На фронте хозяйничал звероподобный Дракула, уничтожая и делая калеками людей под грохот канонады. А двойник-невидимка пробирался в тыл. Незаметно и тихо он тоже делал своё чёрное дело. Поэтому семьям, в которые вернулись мужья, отцы, братья и сестры, досталось больше победной трапезы, нежели всем остальным. Этот незримый мизантроп обездолил молодых девушек и женщин. Во фронтовые времена и во времена после победного благополучия им выпала незавидная участь. Они вынуждены были заменять тех, кто не вернулся с войны. Тогда, наверное, родилась горькая присказка: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Сельские труженицы могли всё: они пахали на коровах и быках. Если надо, впрягались в плуги сами. Какую работу ни возьми — всё они. От постоянного нечеловеческого напряжения у кормящих мам пропадало молоко. Оно пропадало и у коров, которых впрягали в плуги и жнейки. Обходились без молока, перебиваясь с хлеба на квас.

Всё могли женщины. Не могли одного: заменить мужчин в любовных ласках. Ни те, кому судьбой была назначена тяжёлая роль вдовы. Ни те, для кого первый поцелуй был несбыточной мечтой. Сердце ждало его, единственного. Душа замирала от мысли о возможных свиданиях, тех часах, «когда миленький придёт». Милые доставались не всем. После трудного дня, который и мужиков-то ломал через колено, выходили, прихо-

рашиваясь, на игрища. Брови подводили разведённой водой сажей, на румяна шла столовая свёкла, а белые носочки на ногах в брезентовых тапочках рисовали мелом. Увы... Если бы в те годы в хуторе нашли клад моднейшего французского парфюма, изысканных платьев и туфель, если бы над хуторянками колдовала целая рота выпитых из-за границы стилистов, визажистов и других специалистов женского счастья, они не помогли бы и не могли помочь. Девушки танцевали бы с девушками или юными прыщавыми, потными, млеющими от близости женских тел подростками. Девушки стояли бы, обречённо прижавшись к белёной стене конторы, которая одновременно служила и клубом, и каждая минута отдыха превращалась бы в ненавистную вечность. Потому что на десяток молодых сердец приходилась щепоть фронтвиков, да и на тех живого места не найти. Именно тогда, наверное, и родилась отдающая горькой полынью частушка:

*Ох, проклятая война,
Ты меня обидела.
Ты заставила любить
Кого я ненавидела!*

Впрочем, многим и эта полынная участь не досталась. В их числе оказалась и мама. Не потому, что не вышла лицом и статью. С женскими достоинствами всё было в порядке. Не повезло. Семейное счастье, оказывается, тоже зависит от везения. Однажды, рассказывала, приехала в город, ранним утром стоит на остановке, ждёт автобус. Здесь же молодая чета и две дородные девицы. Муж с супруги глаз не сводит. По руке поглаживает. В щёчку целует. Скамейку, на которую собралась присесть, платочком протирает. Девиц, похоже, это разозлило. Принародные ухаживания за неприметной особой они восприняли как личные оскорбления.

— Нюсь, а Нюсь, вот ведь как несправедливо жизнь устроена, — сказала одна товарка другой с вызовом, с нарочитой громкостью, чтобы слышали все. — Ты посмотри на неё. Лопух-лопухом! А он за ней хвост носит. Мы — павы, а ухажёров хоть с Марса выписывай.

Девушка, по словам мамы, и впрямь была невзрачной. Она и не подумала надувать губы, обижаться, вступать в перебранку, а сказала тихо, важно, чеканя слова:

— Каждому — своё. Когда бог красоту раздавал, я спала. А когда счастье — проснулась.

Видимо, мама тоже была в гипнотическом сне. Ухажёры навевались, но сердце не лежало ни к одному. Путёвые поженились быстро. А непутёвые — кому они нужны? Ждала принца долго, будто загипнотизированная. Принц то ли коня потерял, то ли заблудился в многочисленных дорожках к женским сердцам. Очнулась — за тридцать. Поняла, что годы уводят от семейного счастья всё дальше и дальше. Впереди — одиночество. Полноценную семью уже не завести. Решилась на такую — неполную.

Тяжкий путь! Государство его приветствовало. Опустошённым городам и сёлам нужны были люди. Матерям-одиночкам полагалось хоть символическое, но всё-таки пособие. Если забеременевшая женщина не могла прокормить чадо, его легко можно было определить в детский дом. Женщина даже была лишена права требовать алименты от случайного отца ребенка. Коль родила, значит, знала, на что шла. Какие могут быть претензии? Так считала власть. Для неё мать-одиночка — человек государственный. Но людское мнение было пропитано иными настроениями. Это сейчас нравы позволяют хоть каждый день жениться, разводиться, заводить детей, порой даже не зная, кто их отец. В деревенской среде было иначе. Чуть что — того и гляди ворота дёгтем вымажут. Чуть что — родной батя мокрыми вожжами так преподаст арифметику любви, что на место преподавания, всё в синяках, нельзя было присесть.

Дети не берутся из воздуха. Данаи, которые беременеют от солнечного света, бывают в мифах. «Подпольными» отцами становились местные семейные мужики. Каково ежедневно встречаться с соперницей, не питавшей добрых чувств? Каково жить в деревне и растить мальчика, понимая, что, на время уведя мужа у другой, обездолила, унизила её женское существо? И эта униженность ежедневно проявляла себя косыми взглядами, откровенными оскорблениями и сплетнями, обвивающими колючей проволокой. Надо к колодцу за водой, в магазин, в храм... Да куда бы то ни было — жди недобрых слов, а то и недобрых действий. Каково вообще жить в деревне в те времена без надежды опереться на мужское плечо, хотя почти любая работа требовала мужской силы и сноровки?

Мама всё это знала лучше таблицы умножения. Знала, но решилась. Так появился на свет я.

Появился в чрезвычайных обстоятельствах не только потому, что не оказалось отца, но и ещё потому, что далеко от дома. По каким-то срочным надобностям весенней порой мама пешком шла в близлежащий, за семьдесят километров, город и, когда до цели оставалось два десятка километров, почувствовав приближение родов, остановилась у родственников. Здесь меня и приветствовал белый свет.

Не могу представить, как ей пришлось возвращаться в весеннюю распутицу домой с «прибытком». Трудно не понять, что о ней говорили в хуторе. И все равно — сердца не унять. Нездоровое общественное мнение распространялось не только на матушку, но и на меня.

Мальцов, рождённых вне брака, издавна называли байстрюками, незаконнорождёнными. Ты появился на свет вопреки закону. Незаконно в моральном плане, социальном смысле. Эта формулировка как бы автоматически распространялась на биологическую сущность: рождён вопреки законам природы! А коль так, то незаконнорождённого в старину лишали наследства, фамилии и настоящего отчества отца, его титулов и даруемых этими титулами льгот.

Вон сколько из-за этого лишений вытерпел Фет. Только-только дослужится в армии до звания, дарующего дворянский титул, а его, это звание, повышают, дослужится — повышают. Он ведь и служил-то ради титула, но законно его так и не получил. Пришлось поэту, будучи уже в возрасте, обращаться к самому государю. Только тогда стал дворянином и только тогда ему вернули подлинную отцовскую фамилию — *Шенишин*.

Да разве эта дорожка была уготована ему одному? А Леонардо да Винчи, а Эразм Роттердамский, а Джованни Боккаччо, а Джек Лондон? А крестивший Русь великий князь киевский Владимир Святославович, а Герцен, а композитор и химик Бородин, а Жуковский, а Чуковский?

Но с ними проще. Там какая-никакая была любовь. Её плоды стали знаменитостями.

Здесь же — жесточайшая необходимость. Необходимость слабому существу — женщине — иметь семью. Хочешь иметь ребёнка — воруй. Чужого мужа. Чужого кавалера, чужого отца. И воровали. Во время и после войны появились миллионы девчушек и хлопцев с одним крылом

— матушкой. А ещё злые языки называли таких детей «детьми без тени». По их утверждениям, тень человека — родители, которые сопровождают всю жизнь и стремятся подстраховать в случае опасности. Если же одного из родителей нет — пропадает и тень. Получалось, что я отношусь к «людям без тени».

Технический прогресс дал новую кличку такому, как я, — инкубаторские. То есть полученные не естественным, а искусственным путём. Типа цыплят, выведенных с помощью хитроумного аппарата.

Впрочем, ни тогда, ни теперь меня, как думаю, и моих сверстников эти обидные клички особо не задевали. Интуитивно мы понимали, что нашей персональной вины, вины наших матерей в том не было, а потому ну и что, что инкубаторский, что «человек без тени» — не прокажённый же!

А вот без отцовского внимания и поддержки приходилось куда как трудней. Я не поленился и нашёл в личной библиотеке книгу Владимира Солоухина «Капля росы». Цитата будет длинной. Но без неё, кажется, никак не обойтись.

«Я предлагаю вам сойти с поезда на станции Ундо́л.

Не много пассажиров сойдёт вместе с нами, не успеем мы ещё оглядеться по сторонам, как сзади нас раздастся вроде бы удивлённый голос:

— Кто приехал?!

Это воскликнул мой отец. Он знает, что должны были приехать именно мы с вами, и здесь, на станции, он оказался только ради того, чтобы встретить нас, но вот ему надо непременно удивиться и воскликнуть: «Кто приехал?!»

Одна из лошадей, на которую вы только что смотрели так посторонне и равнодушно, оказывается, пришла за нами. Отец взрыхлит сухой темно-коричневый клевер в розвальнях, вещички наши экономно уставит в передок, прикрыв тем же клевером. Может быть, вам непривычно натягивать поверх своего пальто ещё и тулуп, пахнущий овчиной — своеобразно и остро, но надеть его надо: дорога не близкая. Сейчас отец достанет из-под клевера запасные валенки, усадит нас как следует, к ветру спиной, чтобы под тулуп не задувало, на ноги бросит дерюжку, сам завалится в передок, и земля дернется под нами сначала с боку на бок (надо сорвать с места прилипшие к снегу полозья саней),

а потом тронется тихо и со скоростью трёх-четырёх километров в час — дорога не бойка, лошадёнка своё уж отыграла, а у отца любимое правило: тише едешь — дальше будешь, — поплывут навстречу разные зимние пейзажи.

Отец все время понукает лошадь: «Ишь она, чего тут!», «Но, шевелись, на горе отдохнёшь!», «Ишь она, уснула, вот я её сейчас!» Но на лошадь это не производит ни малейшего впечатления, судя по тому, что сани скользят после таких понуканий не шибче и не тише, а всё так же монотонно и усыпляюще тихо.

Воротник тулупа, твёрдый, стёганый, выше головы, не даёт глядеть по сторонам, но только в одном направлении, и то не широко, а в узкую щёлочку...

Можно недоумённо пожать плечами: обыкновенные заботы обычной вьюжной русской зимой. Кому как. По мне — очень и очень необычные.

Когда прочёл отрывок в первый раз, зарыдал. Был и в моей жизни случай, когда меня, студента, ехавшего домой на зимние каникулы, застала в дороге пурга. Какая лошадка, какие валенки, какой тулуп?! От железнодорожной станции до родных пенатов полста километров сплошного бездорожья. Поезд прибыл в четыре утра. Часа два посидев в вокзале, понял, что надежды на погожий день иллюзорны. Значит, иллюзорны надежды на автобус или хоть какой-нибудь транспорт. А если непогода затянется на несколько дней или на неделю? Ни знакомых в городе, ни денег. И я шагнул в буран. Шёл пешком, спотыкаясь и падая. Ветер, как с цепи сорвавшийся Цербер. Метёт сверху и снизу. Морозно. Не видно ни зги. И всё — против одинокого неопытного путника, трижды едва не заблудившегося в степи. Шёл хуже, чем по лезвию бритвы, но одолел-таки этот необыкновенный пятидесятикилометровый марафон. Почти за сутки!

Я пришёл домой глубокой ночью. Заглянул в сарай. Сел в сено и зарыдал. Рыдал до тех пор, пока не продрог. Только тогда зашёл к маме, которая тоже не спала сутки, ожидая меня под сторбившейся керосиновой лампой. Теперь настала очередь рыдать ей. Почти теряла сознание. Еле отходил.

Быть безотцовщиной в те годы в деревне значило одно: становиться в один ряд с мужи-

ками желторотым юнцом, взростеть и деловой хваткой, и умом, и изворотливостью. Иначе — не выжить. Приходилось становиться, заменяя главу семейства.

Дважды наша семья стояла на краю пропасти.

Об одном я знаю только по рассказам. После войны, когда ещё меня не было и в помине, тяжело заболела мама. Без больницы не обошлось. Голод. Выздоровев, пришла домой и хотела наложить на себя руки. На огороде ни куста картошки — главного деревенского «хлеба». Хорошо, что не поспешила с решительными действиями. Оказалось, соседи убрали урожай и ссыпали себе в погреб, чтобы никто не позарился.

Коровёнка, с пяток овец, поросёнок и картофельные грядки на огороде, разумеется, не могли озолотить. Но без них не выучить, не поднять детвору. Да и эту возможность окорачивали, потому что считали: личное хозяйство — рассадник частной собственности. Оно отрывает от общественных забот. Если колхозы и помогали продержаться коровёнку, то как бы нехотя, формы ради.

Однажды мама занедужила второй раз, её опять положили в больницу. Август самое время заготовки кормов. Колхоз расщедрился. Убранное пшеничное поле разделили на равные участки. Жребий определял, кому какой достанется. Я представлял главу нашего семейства. Дрожащей рукой полез в сложенную пирожком клетчатую фуражку бригадира и вытащил бумажку с номером сто.

— Повезло тебе, парень, — сказал бригадир, — круглая цифра. Не иначе, сена огребёшь, девать некуда будет.

Позже выяснилось: он почему-то злорадствовал надо мной, десятилетним. Не мог не знать, что мне досталось. Участки выделяли для того, чтобы косить. Но не сено. Стерню. На некоторых, правда, кое-где виднелись то проклюнувшийся осот, то робкий вьюнок, то всходы вездесущей лебеды. Но на моём не было ни сорняков, ни стерни вообще. Всё выбили машины, возившие зерно от комбайнов на ток и проторившие на «наделе» дорогу.

Не знал, что делать. Дома заплакал, достал косу, пошёл к соседу, попросив отбить непослушный инструмент, предназначенный отнюдь не мальцу. Тот долго курил, искоса поглядывая на меня и о чём-то думая. Наконец

встал со скрипучего стула и размышлял на ходу, припадая на одну ногу.

— Да, брат, задача у тебя... Не заготовишь корма, надо будет коровку со двора сводить. Сведёте коровку, пропадёте сами... Ты вот что, парень, ты на пуп не надейся. Он у тебя ещё не устоялся. Может развязаться. Бери умом. Смотри: за огородами пшеницу скосили, копны свезли. А под копнами полова осталась. Она без остей, и в ней много зерна. Корм лучше сена будет. Бери мешок и таскай полову, сколько силёнок хватит.

С участием соседа на ножной колченогой машинке «Зингер» сшили из старого полосатого матраса мешок, приладили к нему лямки. Получился вместительный, до пят, рюкзак.

Полова — то, что остаётся от обмолоченного зерна. Золотистого цвета невесомые скользкие чешуйки. Я сгребал их руками в мешок, и они приятно щекотали ладони. А внизу, на самой земле, настоящий клад — до ведра отборной пшеницы. Действительно, зерно к зерну — крупное, увесистое, наливное. Подбирал всё до зёрнышка.

Ноша была почти невесомой. Работа превращалась в игру. Игра втягивала. Только вечерами чувствовал, как саднят ноги, изъеденные стерней. Мазал их сметаной, оборачивал остатками старой простыни и блаженно засыпал, чтобы завтра, едва сойдёт роса, вновь отправиться в очередное путешествие за половой — босым!

Подсчитал: месяца на два корм уже припасён. На оставшиеся четыре месяца каждый день корове нужно три мешка половы. Всего необходимо сделать триста шестьдесят «рейсов». Значит, в моём распоряжении примерно месяц. Каждый «рейс» — километра в два-три. Сделал, освободив неоглядное поле от остатков урожая и тем самым подарив трактористам лёгкую, беззаботную вспашку зяби.

Когда мама вернулась из больницы, я повёл её в сарай, доверху набитый кормом.

— Смотри, мам, что я натворил.

Мама опустила на колени, нагребала пригоршни половы, пропуская её через растопыренные пальцы и сквозь слезы приговаривая:

— Дитятко ты моё, дитятко... Дитятко ты моё, дитятко...

Выпадали ситуации, о которых дома я предпочитал не распространяться. За нашими огородами посеяли кукурузу. Кукуруза выросла, что лес.

Зайдёшь в посева — солнца не видать. На початки и стебли посягать не полагалось. Не ровен час обвинят в краже колхозного добра. А промышлять сорняком считалось не грех. Междурядья посевов были чистыми, но в рядках, особенно там, где не взошли семена, находило пристанище куриное просо — густой, сочный сорняк, заканчивающийся небольшой метёлкой с семенами, похожими на просо, но помельче. Его у нас называли собачкой за длинные острые клиновидные листья. Неосторожно проведёшь рукой, тут же «укусит», оставив, будто бритва, на ладони кровоточащую полоску. За этой самой собачкой и охотились, подрезая её серпом и набивая мешки. Груз вываливали на огороде, он высыхал и был, конечно, не сеном, но и не соломой. За резкой собачки меня застал объездчик. Проще говоря, сторож, который разъезжал по полям верхом на лошади.

Сторож был однорук, скрытен. Он появлялся всегда неожиданно и доставлял немало хлопот всем, кто охотился за собачкой на кукурузных плантациях. Теперь попался и я. Сажу на корточках, режу старым, с зазубринами, серпом брызжащий соком сорняк.

— Ты что ж, щенок, делаешь? — слышу вкрадчивый голос объездчика. — Сейчас я тебя, гадёныша, проучу.

Вижу, над всадником взвился длинный кнут, который вот-вот опустит мне на голову его левая рука. Правая лишь слегка всколыхнулась, похожая на обрезанное крыло: руку сторож потерял на войне.

Я не стал убежать, а медленно поднялся с корточек, широко расставив босые ноги, отвёл руку с серпом в сторону и чеканил слово за словом:

— Только тронь... И тебе брюхо вспорю... И лошади.

Рука побелела, сжимая серп. Губы и ноги дрожали. Рубашка взмокла от пота.

Вид мой испугал объездчика не на шутку. Он ретировался, сказав:

— Шпаны у нас ещё не было, так вот вылупилась. Инкубаторский!

Эти «избранные места» из жизни никогда не считал определяющими. У меня нет шикарной дачи, виллы на берегу Средиземного моря. У меня нет даже самой дешёвой машины.

В девятнадцать лет я впервые попал в город,

увидев там, тоже впервые, реку, тепловоз, патефон. К той же поре относится и посещение театра. В двадцать пять лет первый раз оказался на борту воздушного лайнера, а в шестьдесят — за границей. Но зато в десять лет косил, доил корову, пахал на лошадях. Зато стараниями мамы ни дня в жизни не голодал. Зато без «мохнатой руки» поступил в один из престижнейших университетов страны, зная наизусть почти всего Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, а заодно и романтика отечественной исторической науки Ключевского.

Но то, что ни раньше, ни сейчас я никому не могу сказать такое простое, такие вроде бы обыденные слова «папа», «отец» сделали меня обделённым на всю жизнь. Я, конечно, знал их и знаю. Они для меня существуют вообще, безотносительно к конкретной персоне, а потому понятия абстрактные. Слово «мама» конкретно, персонально, потому что за ним глаза, волосы, улыбка, привычки, предпочтения моей матушки. Я знаю о её способности трудиться от зари до зари. Я знаю о её заводном характере в песне и пляске. И не только её.

Помню нашу с женой свадьбу. К нам, молодым, порядком уставшим от велеречивых здравниц и приветствий, ведомые мамой, подошли её брат с женой и бабушка и запели величальную — старинную русскую песню, которую никогда я не слышал. Они не имели понятия о нотах и других музыкальных премудростях, но пели так, что показалось, будто к нам на торжество пожаловали лучшие певцы мира. Каждый стремился показать свой голос. Дядя — басовитый, его супруга с бабушкой будто ходили вокруг, подыгрывая, подплясывая, а матушка принаравливалась к дяде, оттеняя его голос сочным, звонким голосом молодой удалой женщины. Получался целый спектакль. Очень часто, вспоминая тот душевный трепет от этой песни-спектакля, я вспоминаю образы и мамы, и бабушки, и дяди с его женой. Вспоминаю и вновь прихожу в трепет.

А что я знаю об отце? Отец — лишённое плоти и крови абстрактное бестелесное и бездуховное понятие. Поэтому чувствовал себя необыкновенно ущемлённым. Эта ущемлённость превратилась в какую-то манию, преследующую меня. Даже в университете, да вообще где бы то ни было, если спрашивали об отце, я, потупив взор, вынужден был отвечать, что у меня его нет, и

краснел, будто непосредственным образом был виноват в том, что я — «человек без тени».

Идём в школу или из школы. Сверстники рассказывают о домашних заботах, в которых обязательно присутствует слово «отец». «Мы с отцом косили...» «Мы с отцом поехали...» «Мы с отцом ездили в город...» «Мы с отцом были в ночном...» И даже грешное: «Мы с отцом курили...»

И я завидую: с отцом!

Говорят в школе какому-нибудь шалопаю: завтра с отцом придёшь.

И я опять завидую: с отцом!

Заглянешь иной раз к соседям, они обедают. Во главе стола отец с матерью, а вокруг дирижирует ложками детвора. У нас не так. Во главе стола — я, напротив — мама. И до боли обидно, это весь состав нашего семейного подразделения.

Помню однокурсника, который, вернувшись с занятий в наше общежитие, непременно надевал трико и какую-то очень странную клетчатую рубашку. Лет ей было, наверное, не меньше, чем приятелю. Время погасило цвета до невзрачной застиранности, шотландская клетка еле угадывалась. На воротнике, обшлагах проклёвывались махры. Она была и немодна, и мала для рослого, в теле и мускулах двадцатилетнего парня. Поэтому мусил он затрапезное одеяние не застегивая.

— Выкинь ты это старье на помойку, — даю непрошенный грубоватый совет, — не позорься.

Тот — на дыбы:

— Как ты можешь! Это рубашка моего папы. Она пахнет отцом!

Пришлось извиняться. И завидовать.

Возвращаясь домой из командировок, иду по магазинам, прикидываю, что купить домочадцам. Однажды увидел красивую мужскую рубашку с воротником под галстук-бабочку. Я крутил её в руках так и этак, прикладывал галстук в мелкий горошек, то и дело просил совета у радельных покупателей. Все мой выбор одобряли. Мне живо представился мужчина в рубашке в элегантную клеточку и галстук, и я интуитивно, в предчувствии удовольствия, даже почему-то вспотев, потянулся за кошельком. Достал портмоне, покопался в нём и тут же закрыл.

— Что, денег не хватает? Займите. Такие рубашки редко бывают. Дефицит, — посоветовал любезно продавец, намереваясь отложить товар.

— Спасибо, — буркнул стыдливо я, — откладывать не стоит. Я передумал делать покупку.

Продавец, миловидная молодая женщина, удивленно посмотрела на меня и, недоуменно и обиженно реагируя на мой недружелюбный тон, всплеснула бровями:

— Как знаете. Вам виднее.

Я извинился и быстро отошел от прилавка. Не будешь же объяснять, что поддался эмоциям и что некому мне покупать рубашку.

Так и живу на белом свете восьмой десяток лет. Меня считают сильным человеком, а я рефлексирую, как маленький ребенок. Таких, как я, называют «людьми без тени». Неправда! У нас есть тень — тень минувшей войны, которая будет преследовать неотступно до последних дней...»

* * *

Не без сердечного трепета прочел исповедь. И неожиданно для себя открыл ещё одну правду о войне, о которой, конечно, знал и раньше, но смутно, туманно, не впуская её в душу. Правду в том, что война убивала и калечила не только фронтовиков, партизан, блокадников, детей войны, о чём обычно пишут. Не нанеся даже царапинки, она искалечила судьбы сотен тысяч девушек и молодых женщин. Она калечила судьбы сотен тысяч ещё не родившихся мальчишек и девчонок, для которых слова «папа», «отец» оказались такими же отвлечёнными, как и «галактика», «вселенная». У них не было отцовской подстраховки. Они карабкались по крутым уступам жизни на свой страх и риск, обдирая руки и души порой до крови. Разве это не подвиг?

Прочитав рукопись, я тут же пошёл к соседу.

Константин Сергеевич, — говорю, — брата вашего, Бориса Сергеевича, знаю хорошо. Подзреваю, что исповедь писал не он, а вы. Вы и родились в 1949 году и многое из того, что изложили, мне уже рассказывали.

— А какое это имеет значение? — удивился Константин Сергеевич. — Он, не он... Главное, по делу ли...

Я стал с жаром доказывать, что написано по делу и надо бы попытаться исповедь опубликовать. Он не соглашался: мол, тема интимная, огласке не подлежит. Не ровен час засмеют. Жильцы нашего подъезда первыми скажут: наш генерал распустил нюни.

Спорили долго и жаро. Еле-еле нашли компромисс. Убедил его, только заявив, что чувство безотцовщины до сих пор живет в каждом ветеране, его сверстнике и для каждого автобиография Константина Сергеевича — бальзам на душу. Договорились, что при случае опубликую исповедь под своей фамилией, а его фамилию в тексте опущу.

Я заменил заголовок, назвав рукопись «Исповедью «человека без тени», и направил её в редакцию. Может быть, действительно она окажется бальзамом для чьей-то израненной читательской души? Впрочем, предположительное «может быть», мне кажется, следует изменить на утвердительное — «конечно».

□

Алексей Васильевич МАНАЕВ

родился в 1949 году на Белгородчине.

Окончил Казанский государственный университет.

Кандидат исторических наук.

Журналист.

Государственный советник Российской Федерации I класса.

Член редколлегии журнала «Человек и закон».

Публиковался в журналах «Наш современник»,

«Север», «Московский вестник», «Подъём»,

«Волга», «Человек и закон» и других изданиях.

Автор нескольких книг.

Удостоен государственных, региональных наград.

Живёт в Москве.

